

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Сегодня я в тебя влюблен!

А. Блок «Встречной»

По отсыревшей улице с труднопроизносимым названием, по причудливой топографии её тротуаров, по аэрозольным фрескам на стенах её домов, по нерядливо собранным декорациям вывесок, витрин и павильонов, по взлохмаченным кронам тополей, платанов и лип неистово лупит дождь. Внутренняя линия движения улицы прерывиста и изломанна. Улица хаотично, безвкусно окаймлена нервно-неровными шеренгами автомобилей. Хёндаи, Тойоты и Фольксвагены тянутся своими умильными мордами к вазонам с геранью, словно усталые кони к свежему овсу. Тускло оранжевый Порше, пятнистый от ржаво-бурых мокрых конфетти листопада, облепивших его кузов, изображает притаившегося в засаде леопарда. Вздрыбленные зады уснувших Ауди, Ниссанов и Опелей интимно льнут к грубо изваянным, потрескавшимся цоколям зданий. Нижние части фасадов густо укрыты поблёкшими соцветиями объявлений с торчащими лепестками телефонных номеров. Письмена на листках размыты дождём и неразборчивы. Очень холодно. Очень! Так холодно, что мог бы, кстати, и снег нагряться: внезапно налететь, матово выбе-

лить задний план, скрыть угловатость деталей; порхающий, танцующий полёт снежинок мог бы развеселить, принести мыслям лёгкость, чистоту и свет. Но идёт дождь, льёт назло, бушует специально, — чтобы было противнее и скучнее. Его сырая, плотная пелена отпугивает своими трагическими метаниями, гонит от себя прочь своим порывистым плачем. Унылое равнодушие струй: безвольное — наискосок, или безнадёжное — сверху вниз, то и дело будоражат всенаправленные взрывчики слякоти, летящей из-под колёс стремительно проносящихся автомобилей. От стереотипичности, неоригинальности октябрьского дня хочется с презрительной усмешкой, с убийственным, декларативным сарказмом раскрыть зонтик. Зонтика нет. Есть козырёк бара, но под ним стоять неинтересно.

Я оглядываюсь по сторонам: налево через перекрёсток за небольшим сквером виден остеклённый угол страдающего кубизмом здания театра с полуоткрытым верхним этажом в виде портика. Общее выражение фасада — гримаса безнадёжности, холодного отчаяния, внутренней пустоты, — ещё бы! — театр скорее всего закрыт, а если не закрыли пока, то уже отключили отопление и воду за долги. Впрочем, я, кажется, ошибаюсь, всё не так плохо: у самого входа, под крылом навеса стоит зрелая, вполне ещё изящных форм девушка и курит. На лице курящей издали угадываю беспорядок, волнение и плохо скрытые муки творчества. Её плечи время от времени мелко вздрагивают, вероятно, она шмыгает носом — то ли плачет, то ли простудилась. Возникает совершенно естественная в моей ситуации мысль: познакомиться с ней, погреться в вестибюле, может быть даже в фойе — поближе к культуре, к вешалке, к ружью на стене, к искусству перевоплощения. Можно ещё купить в кассе билетик, — я продолжаю фантазировать, — и сходить с девушкой на премьеру. «Филумена Мартурано», «Птицы нашей молодости», «Моя профессия — синьор из общества», — припоминаю афишные названия из юности. Раздумья закончены, я рывком выскакиваю из-под навеса бара и неистово, но аккуратно несусь, скачу сквозь охваченное непогодой пространство к пяточку у театрального входа.

— Здрасьте, — подбегаю к девушке и немедленно остроумничаю. — У вас открыто?

— Бар вон там, — девушка выпускает носом дым и, не глядя на меня, указывает направление сигаретой, — впрочем, вы, кажется, оттуда и прибежали. А здесь у нас храм искусства, вам это ни к чему.

— Ага, так вы, наверное, жрица?

— Не хамите, молодой человек, — девушка стреляет окурком в дождь, злобно взглядывает на меня, хмыкает и подсевшим голосом восклицает:

— Шурик!

— Кто Шурик? — удивляюсь я.

— Ты Шурик! Ну не я же!

— Странно. Впрочем, вы угадали, — соглашаюсь, — меня действительно зовут Александр.

— Шурик, — настаивает она, — я же вижу. Мы с тобой кратковременно сидели за одной партой в четвёртом классе. Неужели не помнишь? Или ты хочешь нахамить мне ещё раз и сообщить, что я ужасно изменилась с тех пор?

— Ни в коем случае, — я настороженно изучаю лицо собеседницы, — Ни в коем...

— Сначала разукрупнили классы, вспомни. Линия была такая: разукрупняли тресты, хозяйства, учебные единицы. Из двух четвёртых сделали три, резали по живому. Я сидела с Худяковым! О! Это была такая любовь! Такая... С моей стороны... И вот, его от меня оторвали. Отняли, как скрипку от Паганини. Подсадили тебя, Шурик. Ты тоже ничего парень был. Мы с тобой просидели чуть ли не целый сезон.

— Учебный год.

— Ну да. Какая разница? А потом... Потом в Боровском достроили школу. И я укатила... Покинула вас... М-да... Ни черта ты не вспомнил... Слышишь? Ответь мне, почему он на меня орёт?

— Кто?

— Панченко.

— Кто это?

— Ты разве не знаешь? Темнота! Кавалерович-Панченко, заслуженный деятель искусств, известный режиссёр, но мы называем его кратко: батька Панченко, точнее — маэстро Панченко. Хам, я тебе скажу, ужасный, однако страшно талантлив.

— Эпитеты какие — ужасный, страшный... Волшебник Гудвин прямо... — Светка! — осеняюсь я.

— Вспомнил всё-таки! — радуется Светка.

— Этот ваш Гудвин, он глубоко копает, что ли?

— Очень глубоко. Ямища выходит офигенного размера! И нам всем в этот котлован придется сигать, как в пустой бассейн... Поди пойми, что ему нужно.

- Может, это он от погоды, от сырости, от ревматизма?
- Возможно, но я помню, он в июне тоже сильно кричал, ставили «Скандинавскую Мечеть». В июне, знаешь, какая была идиллия на улице?
- Представляю.
- Вот. Он и тогда кричал. Он всегда кричал...
- Он кричал при НЭПе, орал при Советах. А как он визжал при либералах!
- Шутишь?..
- Серова! — ещё вспоминаю я.
- Правильно, Серова, — усмехается она, — Светочка Серова. Вспомнил наконец-то, умница наш, отличник... Ты к нам надолго?
- Почему ты решила, что я нездешний?
- Видно сквозь туман за километр... Я кое-что про тебя слышала. Я же женщина, мне всё интересно.
- Нет, ненадолго... Вот, только на тебя посмотрю, побуду с тобой и поеду... Ты у Савченко в главной роли?
- У Панченко... Нет, не в главной.
- Очень странно, я подумал, что именно в главной — выглядишь вылитая Заречная из «Чайки».
- Льстишь?
- Значит, ты в кордебалете.
- Издеваешься?
- Роль заднего плана.
- Вот-вот, полная задница... Ты сам-то театр любишь?
- Обожаю, особенно, когда в буфете дают бутерброды с ветчиной.
- Ой, не напоминай про ветчину! Пообедать не успела...
- Я переминаюсь с ноги на ногу, оглядываюсь по сторонам: к правому крылу здания примыкает нештукатуренная пристройка, слегка прикрытая строительными лесами, вернее, их остатками. У подножия лесов валяются обрезки арматуры, самородки битого кирпича, там же, словно впавший в спячку крокодил лежит кусок старой железобетонной балки. Фонтан в центре сквера антично полуразрушен. Уцелевшие гранитные плиты парапета застыли в позах бойцов, осторожно отползающих от эпицентра взрыва.
- Тоска! — сообщает Светлана, наблюдая мой интерес к экстерьеру.
- Опера Пуччини, — говорю.
- Какой Пуччини! — возмущается Светка, — Тоска! Вот здесь! — хлопает себя по лбу, — в балахоне, с косой, явилась и не уходит.

- С косою — это Смерть, — поправляю я.
- А Тоска с чем? — щурится Светка, словно припоминая.
- Тоска со шваброй, я думаю.
- А-а-а, точно! — соглашается она и вздыхает, — слышишь, не уходи сейчас, побудь. А то пойдём к нам на репетицию. Посидишь, помотришь. Потом...
- Нельзя же посторонним.
- Нельзя, это правда... Чёрт... О! Идея! Скажешь, ты автор пьесы, Скороходов. А? А? Пришёл, типа, взглянуть и дать рекомендации. Вот будет цирк!
- С ума сошла. Ваш режиссёр разве с ним не знаком?
- Знаком по мобильной связи. Он этого драматурга в основном кроет и говорит: «молодой человек, скажите спасибо, что я выудил, выкопал вашу пьесу из кучи...». Шурик, ну ты на себя не похож! Такой был заводной в школе, авантюрист, я же помню!
- Когда это было?.. А если драматург вдруг завтра явится?
- Ну и пусть. Тебе-то что? Ты будешь уже далеко... Вряд ли явится. Он всю эту рутину давно послал подальше, занялся шоу-бизнесом. Сказал, чтоб засунули его пьесу... и чтоб дивиденды, если набегут, слали через «Вестерн Юнион».
- Тебе-то зачем всё это?
- Что «всё»? Театр?.. Ах, идея!?.. Я ж объяснила! Скучно жить. Тебе разве нет?
- И мне... Только нельзя же так впопыхах. Я даже содержания пьесы не знаю.
- Там всё просто. Я расскажу, покажу распечатку... Тебе что, нравится стоять под дождём?
- Нет. Не очень.
- Так пойдём! Что ты, Шурик?! Не узнаю тебя!.. Повеселимся. Внешность у тебя подходящая... Пойдём... Ты к нам откуда?

КАРТИНА ВТОРАЯ

*«... сильнее богов — наглость человеческая!»
Г. Горин. «Забывать Герострата!»*

Сценические декорации представляют собой стильно благоустроенные апартаменты. Сейчас это у них, кажется, называется «евроремонт». Пространство заполнено ладно сбитой, со вкусом расставленной мебелью. В глубине

сцены — лестница в бельэтаж. Зал тёмн. Партер накрыт невероятного размера балахоном цвета застиранной простыни. Краешек балахона у бокового входа в зал гостеприимно откинут и обнажает десятка два кресел. В креслах с поникшим видом расположилась стайка незанятых в картине артистов. Свет от лампы на режиссёрском столике бьёт в мои тёмные очи, тревожит сердце, вынуждает морщиться и строить недовольную мину.

— Автор. Пришёл, — кратко, с искусственной бесстрастностью рекомендует меня Светлана изумлённо раскрывшему очи Панченко.

— Автор! — восклицает режиссёр, правильно интонируя возглас и выдерживая логическую паузу, — Пришёл!

Меня тревожит моё неважное сценическое самочувствие: я испытываю робость, норовлю глупо покраснеть, стушеваться, промолчать, я ощущаю отсутствие нужных видений и хотений, хочется просто и невежливо уйти, скрыться, исчезнуть в дыре портала, перемотать плёнку назад и оказаться в исходной позиции — на улице, под навесом бара, по которому заводно, игриво и радостно стучит такой желанный сейчас дождь. Однако Светлана находится рядом, затаилась, я слышу её осторожное дыхание, она ждёт начала представления. Мне так не хочется разочаровывать её ожиданий! Вспомнив на миг, какие чудеса безрассудства и перевоплощения я вытворял в школьные годы, приободряюсь.

— Явился родитель! — восклицаю я, неуверенно и неверно подражая мастерским интонациям Панченко, — жаждущий взглянуть на своё детище!..

— Преступника тянет на место преступления, — укоризненно объясняет режиссёр, поворотившись к пустому залу и выразительным жестом указывая в мою сторону.

Собираясь с мыслями, я пропускаю его язвительное замечание мимо ушей. В это время Светка, подстёгиваемая требовательно-хозяйским глазом руководителя, удаляется, убегает на сцену, привычным скоком поднимается по ступенькам декораций на второй этаж и скрывается за дверью воображаемой спальни. Проводив внимательным взглядом уходящую Светлану, я приосаниваюсь, привожу себя в необходимое в данной ситуации хамское расположение духа и, наконец, уверенно захожусь в своём традиционном стиле:

— Знаете, случилась потрясающая вещь! Совершенно фантастическая! Я свою пьесу недавно увидел во сне. Практически целиком. Увидел совершенно иначе, другими глазами, что ли, — лучше, ярче, выразительнее... Леноч-

ка Пичугина, роль заднего плана, например, — я указываю глазами на дверь «спальни», за которой притаилась Светка, — эта роль видится мне теперь гораздо объёмнее, насыщеннее...

— Оставим пока детали, — перебивает меня режиссёр, поправляя наброшенный на плечи свитер из верблюжьей шерсти. — Молодой человек, мне помнится, завершая нашу последнюю краткую беседу, вы предложили засунуть вашу пьесу...

— Но вы же её оттуда вытащили! Спасли!

— Если б только спас! Я её облагородил! Я из неё сделал праздник, а у вас там — кукольный театр, кладбище пешеходов.

— В каком смысле?

— Люди ходят по дому, двигаются, скрипят суставами и половицами, но они мертвы. Истлели! У них нет лица, воли, характера.

— Мертвы, истлели. К чему весь этот налёт славянской грусти?

— Ах, вас уже раздражает моя критика?!

— Вы ведь преувеличиваете! Какого чёрта тогда бы вы взяли за пьесу!

— Да, я преувеличиваю. Согласен. Представляю гротеск реальностью во воспитательных целях. В вашем труде есть много прекрасных, ярких моментов, поворотов и тем...

— Ага, вот так.

— Однако вся эта блестящая алмазная россыпь накрыта большой кучей...

— Которую вы собственноручно расчистили, как истинный санитар творческой идеи.

— Санитар. Берите выше! Я хирург! Я лечу внутренности, копаюсь в них, чтобы представить зрителю здоровую наружность, энергичное, свежее тело замысла, жизнерадостный, яркий характер.

— Понимаю. Правильно. И я явился вас поддержать, помочь, подать руку, зажим или скальпель, если понадобятся, покопаться во внутренностях с вами заодно... Вот, например, очень интересная деталь из моего сна: Пичугина, выходя из спальни, не молчит, не плачет, тихо всхлипывая, но, спускаясь вниз по ступенькам, останавливается на полпути и, обращаясь к зрителю, произносит очень чувственный и интересный монолог... Э-э, такой, если мне не изменяет память...

— Странные сны у вас, молодой человек. Легко вам живётся: выпил, лёг, отключился, увидел во сне постановку, причём в деталях. Проснулся, записал.

— Почему выпил?

— Ну, съел чего-нибудь, а потом лёг и увидел ... И бессонница вас не мучает.

— Вас, вероятно, мучает

— Если б только она... Однако, давайте работать...

— Давайте. Я — за. Так вот, Пичугина мне видится...

— Молодой человек, нескромный вопрос: у вас что-нибудь с Серовой? Завязались какие-нибудь симпатии, чувственные взаимоотношения?

— Серова это кто?

— Не надо меня морочить! Она вас сюда привела. До этого вы с ней курили у подъезда и мило беседовали.

— Мы с ней? Я вообще не курю.

— Ничего, узнаете Серову получше, закурите.

— Зачем так жёстко? Зачем обижать молодую, незаурядную натуру? Она ведь незримо находится сейчас здесь, с нами.

— А где же ей ещё находиться? Я её с репетиции пока не отпускал... Серова, вы на месте!? — поставленным голосом восклицает режиссёр.

— На месте, Нестор Парамонович! — тоненько слышится из-за двери на «втором этаже».

— Ну вот, — мягчеет Панченко, — Главный винтик вашей адской машины на месте. Усаживайтесь Виктор Сергеевич, устраивайтесь, станьте невидим и неслышим на некоторое время. Мы, если вы позволите, начнём прогон второй картины. А знаковый, кульминационный, с вашей точки зрения, выход Пичугиной из спальни, оставим пока, как есть. Согласны?.. Отлично!.. Приступаем. Начинаем снимать второй покров с таинства вашего замысла. Потом вы выскажете нам свои глубокомысленные замечания... Труп, на исходной позиции?!

— Готов! — слышу со сцены.

— Понятловский, — поясняет режиссёр, — дайте мне полный некроз, вы поняли? Дышите потише и не выпячивайте грудь.

— Я и так стараюсь, Нестор Парамонович. Тяжело после бронхита. Холод собачий на сцене...

— Бронхит оставляем дома, ясно?

— Ясно. Но Понятловский ведь жив на самом деле, он в глубоком обмороке...

— А зритель пусть будет уверен, что вы скончались в страшных муках. Я так хочу. Понятно?.. — Панченко снимает с плеч свитер и через голову надевает его в рукава, — Итак, начинаем! Свет!

На сцену падает замысловатый световой аккорд, в нём преобладают сиреневые и зелёные тона. Лишь на дверь спальни аккуратно брошено тусклое янтарно-золотое пятно. Комната погружается в немое ожидание. Ходики на стене многозначительно молчат. Предметы обеденного сервиза зловеще поблёскивают за витриной горки цвета тёмного дуба. Лиловатых оттенков труп остывает у подножия кушетки. Дверь медленно отворяется, выходит Пичугина, она на несколько мгновений останавливается и замирает, по лицу её пробегают холодные волны затаённого горя, обиды, в глазах полыхает смесь раздражения и гнева. Вот, очнувшись от тяжёлых мыслей, Пичугина возвращается к действительности и начинает сходить вниз по ступенькам. Поступь её хоть нервна, осторожна, но размеренна и завораживающе изящна. Каждое её движение дышит скрытой грацией, вдохновенной решимостью...

— Серова, не переигрывайте! Не кривляйтесь! Не выдумывайте того, чего там нет! — поправляет Светлану режиссёр.

Я от досады тихо сплёвываю, но, зачарованный, продолжаю пристально следить за Светкой... Вот, увидев «труп», она невообразимо расширяет глаза, её лицо вспыхивает в прекрасном, обворожительном ужасе. Она так замечательно хороша в этот момент, что я не выдерживаю, негромко выкрикиваю «браво!» и всплёскиваю руками. Режиссёр бросает на меня сердито-усталый взгляд, а я, обращаясь к нему, делаю виноватое лицо, одними губами выговариваю извинение и затем, чувствуя нарастающее облегчение, стремительно выскакиваю из этого зала, как мне кажется, — навсегда.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

«Я встретил вас — и всё...»

Ф. И. Тютчев

Бесмысленно, неуместно торжественно тлеет закат. Закат не виден, я лишь угадываю это тление по малиново-пунцовым верхушкам высоких облаков, густо облепивших голубеющий в прорехах свод. Меня окружают те же уличные вазоны с геранью, всё так же раздражают ухмыляющиеся морды Тойот, беспокоят своей пристальностью изумлённо раскрытые глаза и вытянутая физиономия двухсотого Мерседеса. Я тусуюсь у служебного входа в театр в их холодной и скучной компании. Заднее крыльцо, проходная представляет собой низенькую пристроечку, выкрашенную в

ярко-кирпичный цвет, покато крытую черепицей. Рядом с входной дверью на стене прикреплена табличка, текст её мелок и неразборчив, и лишь в самой середине крупно и внятно сияет слово «Дирекция». Настенное пространство под табличкой заполняет небрежно-размашистая аэрозольная надпись: «Сюдой не ходить», ещё ниже подрисован смайлик, олицетворяющий одновременно смятение, сожаление и печаль. За углом от входа, прилаженный к боковой стене пристроечки, притаился перевёрнутый перископ водосточной трубы. Дверной проём сконструирован без приступка, чтобы новичкам удобней было споткнуться о порог. Потерявший равновесие, элегантность и блеск посетитель на какое-то время должен прийти в состояние замешательства, конфуза; в этих условиях службе безопасности драмтеатра будет гораздо легче вывести незваного гостя на чистую воду.

Я уже в третий раз за сегодняшний вечер решительно игнорирую призыв неведомого спрей-артиста, смело подступаю к двери, отворяю её и, споткнувшись о порог, на ходу надевая очки, прохожу внутрь. Я прячусь за стёклами очков, чтобы обезличить себя на время общения с работниками отдела охраны. Мне хочется оставаться инкогнито, быть неузнанным, непризнанным — слава драматурга Скороходова надоела мне ещё три дня назад, когда я так неловко и скоропостижно покинул репетицию маэстро Панченко. Очки — мои собственные, но предназначены они лишь для чтения, поэтому я вижу всё и всех в лёгкой, таинственно-загадочной дымке. Медленно продвигаясь в этом, внезапно ставшим волшебным для меня, мире сеней я осторожно приближаюсь к самому окошечку КПП. Из окошечка на меня глядят сплошь сурово-деловые лица. По хмурым гримасам, обращённым в мою сторону, становится понятно, что я уже успел тут всем сильно надоесть. Гулко стучают и перекатываются фразы: «Что вам ещё угодно?.. Да, Серова на репетиции... Да, репетиция вероятно уже закончилась... Мы дали вам номер её мобильника, выясняйте сами... Если номер не отвечает, значит она на репетиции... Кто вам сказал, что репетиция закончилась?.. Не грубите, молодой человек!.. Нет, в вечернем спектакле она не участвует... Да, здесь и служебный вход, и служебный выход одновременно... Если вошла, должна выйти... Вот и ждите!». И так далее — снова и опять. Когда беседа угасает, и спросить больше нечего, я глубоко вздыхаю, выдерживаю психологическую паузу, затем поворачиваюсь кругом и выкатываюсь на улицу.

На улице замечательно: очень тепло, уютно, приятно. Пахнет пиццей, варёной кукурузой и чешским пивом. Припоминаю, что раньше в это время во всём городе пахло жареными перцами, айвовым вареньем и разрезанным арбузом. Замечаю напротив через дорогу книжный магазинчик, уютное место, то что мне сейчас нужно. Взор его витрины обращён как раз на здание отдела охраны с покатою крышей — очень удобно для скрытого негласного наблюдения.

Пересекаю улицу и вхожу в магазин. Там, среди нагромождения беллетристики, справочников, атласов и словарей, за крохотным прилавком я обнаруживаю продавщицу с добродушным, милым лицом, рассеянно теребящую волнистый локон, в приталенном, как у стюардессы, пиджачке и с нагрудным знаком «Алёна». Мы с Алёной немедленно принимаемся улетучивать вечернюю скуку, завязывать беседу, вкраплять в её канву лёгкие узоры комплиментов, острить, строить глазки, впрочем, всё без излишнего усердия. Алёна очень любит айвовое варенье, Ахматову и бижутерию с агатами (всё на букву «А»). Алёна также занимается спортом — альпинизмом (как я и предположил), на который уходит масса времени, что не создаёт никаких проблем, потому что Алёна пока не замужем. Алёне очень нравится тип мужчин, напоминающий американского актёра, мм-м, который сыграл драматурга в фильме «Автора! Автора!» ... «Аль Пачино», — угадываю я. Наша беседа несётся дальше. Алёну крайне тревожит моя печаль по поводу отсутствия в продаже переводных романов Набокова, но, если я оставлю ей номер телефона, она известит меня, как только Набоков поступит в продажу. Любит ли Алёна театр? — Алёна очень любит театр. — Нравится ли Алёне творчество актрисы Серовой? — О, Алёна обожает актрису Серову! Это такой талант! Она такая... Стоп! Стоп!.. Заметив мою оторопь, мои удивлённо вздёрнутые брови, Алёна переводит дыхание, смущённо улыбается и честно признаётся, что на самом деле она не знает такую актрису. «Ещё узнаете», — торжественно заверяю я Алёну. Чтобы произвести на Алёну окончательно выгодное впечатление, я выбираю однотомник Макиавелли «Государь» плюс «История Флоренции». Расплачиваясь с Алёной, я с беспокойством обнаруживаю, что очертания улицы за витриной посерели, потускнели, почти растворились в наползающих на город сумерках. Я быстро говорю Алёне «гудбай» и выскакиваю из магазина, пообещав напоследок заглянуть на недельке.

Возвращаюсь на проходную потяжелевший, с томом Макиавелли в руке. Надев маскировочные очки, я демонстрирую им всем расстроенный вид,

звучно хлопаю «Государем» о полочку у окошка. Полочка вскрикивает, ложечка в стакане за окошком звякает, окошко раскрывается, в свежевывкрашенной раме проёма возникает дружественное лицо вахтёра. Я возобновляю замкнуто-продолговатую беседу, терпеливо выслушивая те же реплики и заверения... Опера Пуччини!..

Выходящая в сумеречную теплынь Светка застаёт меня у проходной сосредоточенно изучающего следующую цитату из «Истории Флоренции»: «... многие, кому не довелось прославиться каким-либо достойным деянием, старались добиться известности делами бесчестными».

— Ты!? — слышу её возглас, — явился!

— Я, — подтверждаю, вздрагивая и захлопывая книгу, — явился.

— А почему в очках? — интересуется актриса Серова.

— Да вот, понимаешь, зачитался, — объясняю, снимая очки.

— Куда же ты пропал?! Куда?! Я искала тебя, ждала, что ты появишься.

— Вот, я и явился...

— Через три дня?!... Я думала, ты уехал...

— После того, что мы с тобой натворили, я мог бы и уехать... Прости меня, Светка, за моё бегство, за мою бестактность, но у меня на дольше не хватило смелости пререкаться и спорить с вашим М-маэстро. Кроме того, я беззащитен перед воинствующей гениальностью. Клянусь, сделал всё, что было в моих силах.

— Что ты! Что ты! Боже упаси! Я вовсе не из-за этого тебя позвала! Мне не нужно никакой протекции, никаких главных ролей. Я ж тебе объясняла: тоска! Со шваброй... И вот, явился ты и взбаламутил немного этот пруд, это болото...

— Ну, ты скажешь прямо...

— Точно тебе говорю... — продолжает горячо убеждать Светка, берёт меня под руку и таинственно сообщает:

— Знаешь что? Приходи ещё.

— К-куда это? — я пугаюсь и высвобождаю Светкину руку.

— К нам сюда, — изобразив ироничное лицо, актриса Серова возобновляет захват, — приходи запросто. Послезавтра у них прогон «Герострата». Я там не участвую, но тебя проведу как гостя театра.

— Что ты! Неминуемо побьют. И громче и больше всех будет бить П-панченко.

— Ну-ну, — Светка ведёт меня так стремительно, так бурно, будто мы с ней куда-то опаздываем. Ведёт и терпеливо объясняет:

— Во-первых, Панченко там не будет, «Герострата» ставит Бершадский. Во-вторых, маэстро не такой уж и кровожадный, как ты подумал. В-третьих, он тебя очень быстро раскусил, только виду не подал. Сказал, что сразу не выгнал тебя лишь потому, что ему стало ужасно интересно — до каких пределов будет простирается твоя исключительно вдохновенная наглость... Так вот, представь себе, его очень впечатлили эти твои пределы.

— Впечатлительный какой!.. А тебе за наши «пределы» разве ничего не полагается?

— Мне полагается публичная казнь. Обожаю ореол мученичества!

— Вот видишь!

— А судьи кто?! Впрочем, мне уже влетело, но не сильно. После того, как я убедила маэстро, что ты не человек Скороходова и не подослан им для ведения закулисных интриг, он даже обрадовался. «Камень с души», — сказал. Маэстро терпеть не может дрязг, он у нас представитель чистого искусства... Ой, ну что ты на меня так смотришь?! Глаза словно блюдца! Прелесть какая!.. Ты Панченке понравился, понимаешь? Он тебе уже и прозвище выдумал.

— О, боже! Что за прозвище?!

— Совершенно очевидное — Лжедмитрий. Ерунда конечно. И пригласил заходить, если что.

— Если что?!

— Если будет желание... У тебя есть такое желание?

— Желание есть, но оно очень вялое, слабое и чихает.

— Давай, я его подлечу, а? Не будешь же ты отказывать женщине в таком пустяке.

— В пустяке не буду.

— Вот и решено. Приходишь завтра или послезавтра.

— Послезавтра? Д-допустим... Мы с тобой куда-то спешим?

—Нет, не спешим. Мы дышим воздухом. Ты запыхался?.. Мы пойдём по-медленнее...

Свист ветра в моих ушах утихает. Признак того, что мы действительно замедлили шаг.

— Светка, ты свободна?

— Сейчас? Или вообще?

— Вообще и в частности.

— Как тебе сказать?.. И так, и этак. А что?

— Да ничего... Ты очень хорошо перевоплощаешься, мне понравилось.

— Глупости, это я для тебя старалась.
— А я для тебя...
— Ты уезжаешь-то скоро?
— Вот налюбуюсь на твою чёлку, твои ресницы и поеду.
— ... И что? Налюбовался уже?
— Ещё хочу поглядеть.
— Гляди, пожалуйста, мне не жалко.
— Такой вопрос: а вне театра ты вообще существуешь?
— Ой, конечно существую! Только слабо.
— Давай я подлечу твоё существование, раз оно такое слабое... Я тебя сейчас провожаю до дому, да?... А завтра встречаемся в городском парке у фонтана.
— Интересное предложение. Только фонтан не работает — выключили.
— Я же не зову тебя купаться в фонтане.
... Во сколько приходите?
— Даже не знаю. Приходи, как луна взойдёт...
— Ой, а если не взойдёт?... Это, наверное, очень поздно.
— Ну-ну, пошутил. В пять тридцать вечера.
— В пять тридцать, — отчётливо повторяет Светка.
Она умолкает, словно обдумывая что-то, и мы, больше не утруждая себя связной беседой, неторопливо движемся, шагаем, идём вперёд без цели, лишь изредка, следуя какому-то неведомому порыву, поворачиваем налево или направо...

КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ

*«— Опять этот дом! Как он мне надоел! —
вскричала Алиса, —
Так и лезет под ноги!*

*...они бежали, крепко взявшись за руки,
и Королева так неслась вперёд, что
Алиса едва за ней попевала,
но Королева всё время только кричала:
— Быстрее! Быстрее!»*

Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»

В этом доме много комнат — просторных и тесных, светлых и сумрачных, неопрятных и прибранных, открытых и запретных. В этом доме великая уй-

мища стульев и кресел, большинство из которых крепко прилажены, приспособлены к полу для того, вероятно, чтобы многочисленные гости не двигали их, не таскали из угла в угол, не гремели ими и не пытались унести с собой. При таком количестве стульев потрясает почти полное отсутствие столов, за которые можно было бы присесть, чтобы задуматься, склонить голову или облокотиться. В этом доме не дадут толком ни поесть, ни выпить, ни поговорить, ни помечтать; здесь невозможно по-человечески расслабиться, выспаться, побриться, почитать книгу, посидеть за шахматами или у телевизора. Вас здесь ждут не дождутся, однако у хозяев вечно припасены какие-то недосказанности, полунамёки, вечно существуют какие-то от гостей секреты: «милости просим, какая встреча, сколько лет, мы так вам рады, присядьте, пройдите, взгляните, пригубите, попробуйте; только вот туда вам нельзя, и сюда тоже не ходите... и сюда, а здесь вообще заперто, а там пусто и темно, а во-он там светло, но такой беспорядок, что и туда тоже входа нет, а вот сюда за занавес вы сможете заглянуть, но только тогда, когда мы вам позволим, и глядеть будете лишь издалека, и, ради бога, не принимайте увиденное слишком близко к сердцу»...

Гостиная в этом доме огромна и высока, всё бы ничего, но туда не подадут обед, там вечно отключают электричество и совершенно негде потанцевать. Рядом с гостиной, за занавесом, живут и бодрствуют сами хозяева. Они щедро пичкают вас пикантными подробностями своего существования: запутанными драмами и интригами, шумными братаниями и разборками, искромётными базарами и приколами. Из гостиной видно всё очень хорошо, особенно, когда выключают свет. Хозяева то являются вам, то прячутся от вас, они словно заигрывают с вами, они и любят вас, и ненавидят, то искренни, то лукавят, то разгневаны, то счастливы, то добродушны, то раздражены. Весь комизм и трагизм этого загадочного дома одновременно отталкивает и манит, недоступен и открыт, осенён и проклят. К счастью для гостей, всегда, в любые времена среди обитателей этого таинственного дома находится какой-нибудь ренегад или ренегадина, которая в угоду невнятного и неясному мимолётному порыву, увлечению или азарту берёт понравившегося гостя за руку и горячо дыша ему в самое ухо, предлагает:

Ну пойдём же скорее туда, пойдём! Ты в Закулисье никогда ведь ещё не был, ты же хочешь туда, я знаю, я вижу, я чувствую! Давай, не бойся, сегодня можно, я разрешаю....

Вас цепко хватают за локоть и волокут, тащат в какую-то то ли дверь, то ли нору. Проваливаясь в дыру Закулисья, вы успеваете заметить продавленный диван, исполинский гвоздь в стене, на котором висит генеральский мундир с тщательно размазанным пятном кетчупа на обшлагае, пару не старых ещё лакированных туфель с расплзающимися в стороны шнурками, стеллажи с нарисованными корешками книг, обширный пень на колёсиках, аккуратно изуродованный под старину фрагмент античной капители.

Падение убыстряется: вооружённый холодно-колющими болванками вас атакует пожарный щит, по-собачьи взрыкивает пугающее слово «Штраф» на стене, охваченный питоньим аппетитом вас пожирает длинный низкий коридор с высокими зеркалами на лунно-синих стенах, и вешалки, вешалки, вешалки толкают и тянут вас, норовя схватить за шиворот своими крючковатыми конечностями. Затем начинается сущий аттракцион — поворот налево, уханье вниз, затем направо и ещё раз направо, вверх, затем, кажется, налево, впрочем, здесь лево и право уже начинают меняться местами, теряют смысл; верх и низ тоже неустойчивы, эфемерны и норовят самоустраниться. Но вот — шарах! — оцепенение, дно, вернее, дверь, обыкновенная, деревянная, крашеная, с не сломанной ручкой и работающей защёлкой, которая открывается с мелодичным и нежным скрипом. За дверью комната с двумя окнами без занавесок, словно оштукатуренная изнутри шкатулка, полная всякой бытовой дребедени — шкатулка. За окнами комнаты, внизу под широкой кроной каштана — беседка, крыша беседки устлана опавшей листвой, из-под крыши вьётся сигаретный дымок, слышен смех и покашливание, — в Закулисье тоже любят отвлечься, отдохнуть, покурить, порассуждать и поиронизировать.

В шкатулке больше всего зеркал, электрических лампочек, чашек и кипятильников. Лампочки невинно льнут к зеркалам, чашки бесстыдно развратничают с кипятильниками. Лампочки горазды сиять, заливать светом отражённые в зеркалах круглощёкие фасады и обширные затылки, взъерошенные усы и прилизанные височки, вялые носы и энергичные подбородки, роковые родинки и робкие ямочки, громоздкие лбы и компактные ушные раковины, а также прочие впадины, кочки и загогулины лица и его окрестностей. Зеркала грустят и бодрятся, полубезумно расширяют глаза и досадливо морщатся, демонстрируют открытость и напускают на себя подозрительность, излучают добродушие и гневаются, выражают презрение и строят глазки, гуттаперчево гримасничают и статуино

каменеют. Кипятильники, уткнув свои раскалённые носы в полуштофные чашки, журчат, брызжут и булькают, словно Камчатские гейзеры. Комната щедро овеяна дыханием Камчатской свежести — без гейзеров в ней не проживёшь.

— Хотите чаю? — спрашивает нас хозяйка шкатулки, не утруждая себя протокольными реверансами.

Светка молча лезет в тумбочку, вынимает поднос, чашки, другие позвякивающие принадлежности, потом, указывая на меня кипятильником, поясняет:

Вот он хочет и будет, а я сбегаю в одно место на полчаса, туда и обратно. Загнимируй его под кого-нибудь, чтоб он не скучал... Да, познакомьтесь. Это Лена — «худ по гриму». Это...

— Знаю, слыхала уже, — просто отвечает Лена, — ну, ты иди, раз надо.

— Ага, пойду, — говорит Светка и убегает.

— Всё сделаем, — обещает ей вслед Лена, — Не торопись там особо...

Она открывает шкафчик, достаёт блюдо с сушками вперемешку с конфетами и конфетными фантиками, начинает заниматься чаем, покашливает, — не то смущена, не то простудилась. Типичная атмосфера парикмахерской. Я усаживаюсь в кресло у зеркала. Лена подходит сзади, суёт мне в руку конфету, включает подсветку, глядит в мои отражённые в зеркале заискрившиеся глаза, рассеянно, но дружелюбно спрашивает:

— Кого делать будем?

Я бросаю взгляд на отражение октябрьской афиши, прилепленной скотчем к стене, читаю: «□ О □ N 8 □ □». Мудрён язык Закулисья.

— Хлестакова, пожалуйста, — я разворачиваю конфету, — Чубчик — вот так и вот эдак. Бачки покультурнее. Глазки понаглее, если возможно. Побольше свинства во взгляде, — кладу конфету в рот, — постройте у меня на лице одухотворённый цинизм.

Худ по гриму с профессиональной неторопливостью запускает творческий процесс, не забывая при этом задавать вопросы. Её рассеянность постепенно улетучивается и совершенно пропадает, когда я сообщаю ей, откуда я прибыл.

— Вы аж оттуда? — удивляется она.

— Оттуда.

— Прямиком оттуда?

«Прямиком оттуда» до вас можно долететь лишь суборбитально. Я добирался с пересадкой.

— Это же так далеко!

— Я знаю... Помню, когда летел туда в первый раз, мы приземлились от того, что дальше лететь было некуда — океан и чайки... Пограничник здесь в аэропорту разглядывал мой паспорт, как морскую раковину...

Дверь звучно ахает, распахнутая решительной и властной рукой. На пороге — Клементина, царица Эфеса. Выражение её лица восклицательное, состояние её причёски возмутительное, бюст её ходит ходуном, она гневается. Минуту назад у царицы в самый разгар страсти перевоплощения, зацепившись за деталь туалета, съехал шиньон. Чувствуя свою неуместность, свою ничтожность, я предупредительно и подобострастно соскальзываю с гримировального кресла в партер. Меня в недоделанном, недохлёстанном виде выпихивают за дверь с чашкой тёплого ещё чая и четырьмя сушками, туго нанизанными на указательный палец.

Коридор мрачен и пуст, зеркала бледны и лунно-необитаемы. Томимый недоделанностью, я оживляю одно из зеркал и строю ему рожи. Чай выпит, все сушки сняты ртом с указательного пальца и съедены. Наконец, ослепляя сиянием восстановленной безупречности, расплёскивая телесную ртуть, из «штукатурки» выплывает царица Эфеса. Дабы как-нибудь не потревожить царицу своим присутствием, я ныряю в ближайшее зазеркалье и прячусь там за спину своего растерявшегося отражения. Клементина не замечает моего самоуничтожения, величаво покачивая бёдрами, она удаляется в синеву коридора. Выждав минутку, я восстанавливаю симметрию со своим отражением, возвращаюсь в комнату, сажусь в оставленное Клементиной кресло, ещё тёплое от её всеобугливающего гнева, и жду продолжения творческого процесса вперемешку с допросом.

— Выпрямитесь, подбородок повыше, — командует Лена, — вы Свету давно знаете?.. Давай на «ты».

— Давай. Свету я знаю с детства.

— С детства? Тогда нормально.

— Лена, я тебя знаю двадцать минут и чувствую, что это тоже нормально.

— Нормально, — соглашается Лена и вздыхает.

— Отчего ты вздыхаешь? — спрашиваю.

— Да так. Куда, думала, это вы все подевались? А теперь поняла — в астронавты все подались. В суборбитальный полёт отправились. Ищи вас там... Семья у тебя как? Жена с тобой почему не приехала?

— Предыдущая, та любила приезжать.

— Первая, ты хочешь сказать?

— Нет, предыдущая.

— Ах, первая была до предыдущей?

— Интересный вопрос. Давай разбираться... С Инной мы сидели за одной партой. С Марианной учились на одном курсе. С Ксенией мы нигде вместе не учились, встретились просто так. Вот, Наталья любила приезжать со мной сюда. Рэчел...

Кисточка дёргается, соскальзывает с моего виска и въезжает в правый глаз...

— Лена, ты мне лягнула в глаз, — говорю я, — и совершенно зря. Я ж пошутил.

— Про жён?

— Нет, пошутил про Марианну и Ксению. Инна, Наталья и Рэчел...

— Рэчел, — повторяет Лена и заключает: — Нет, лягнула я, всё-таки, не зря. Подожди, сейчас я вытру ваткой, зажмурься.

В комнату тихо входит Клеонт. Увлечённые процессом и беседой, мы его некоторое время игнорируем. Потом оба замечаем, что архонт-басилей Эфеса тоже гневается, впрочем, без надрыва. Гнев его не очень убедителен: «Что вы из меня сделали? Что за рококо на голове? Дамы иронизируют». Нас с Леной этим не испугаешь, мы выдывали экземпляры покруче. «Мы сейчас всё переделаем», — отвечаю я за Лену. Худ по гриму подходит к клиенту, то есть, к Клеонту с обыкновенным магазинным гребешком за двадцать советских копеек и делает ему короткий сеанс куафюра — двумя-тремя лёгкими, но уверенными взмахами убирает у него с головы (и из головы) «рококо». С дамами, которые привыкли иронизировать, и которые ничего не понимают в искусстве, она обещает провести воспитательную беседу. Клеонт, благодарно вздохнув, удаляется.

— Как у тебя с алкоголем? — продолжив лепку Хлестакова, интересуется Лена.

— А что есть? — интересуюсь я, чувствуя, что под воздействием Лениных искусных взмахов и ляпов во мне начинает просыпаться Иван Александрович, чиновник из Петербурга.

— Нет, — отрезает Лена, — А что, тянет?

— Иногда, — говорю, — После психотерапии уже почти не тянет. Вот раньше-то я — эх! ...

В комнату на первый путь экспрессом прибывает разгорячённый режиссёр Бершадский и, разгневанный, сообщает Лене, что у Клементины опять съехал шиньон! Опять и снова! Она уже устала бегать в гримёрную, и вообще!.. Лена, не уточняя про «вообще», оперативно исчезает. Бершадский выпускает пары, переводит дух, и мельком, настороженно третий раз за сегодня взглядывает на меня (мы с ним во время прогона уже успели обменяться парой настороженных прищуров).

— Чаю? — успеваю предложить я, ловко поймав его взгляд в зеркале.

Режиссёр отказывается и намеревается уйти, но что-то его останавливает, какие-то раздумья, сомнения, бог знает.

— Вас, я слышал, кажется, зовут Дмитрий? — интересуется он, — а отчество?

— Иоаннович, — иронизирую я, поворачиваюсь в кресле и слегка приподнимаюсь.

— Ефим Борисович, — представляется он, сохраняя дистанцию, — И как вам спектакль?

— В целом — масштабно, — тихо отвечаю я.

— Ну-ну, — морщится он, — А в деталях?

— Возьмём Герострата, — хватая быка за рога, я повышаю голос.

— Возьмём, — лицо Бершадского разглаживается, он подходит ближе.

— Совершенный бандит, уголовник. Разве это дело?

— Вы преувеличиваете, — он присаживается в кресло рядом.

— Да, я преувеличиваю... Для большей выразительности, — я делаю попытку придвинуть своё кресло поближе к режиссёрскому, — Ваш Герострат слишком однозначен — маньяк, злодей, и всё. Всё! Так не пойдёт. Такой хоккей нам не нужен.

— Кому нам? — на всякий случай деловито уточняет режиссёр.

— Зрителю.

— Больно, вот здесь, — Бершадский, улыбнувшись, тычет в область груди, где у него вероятно расположен орган самолюбия, — вы меня раните.

Я пропускаю мимо ушей жалобы режиссёра на здоровье. Во мне уже вовсю бушует Хлестаков.

— Герострат должен быть элегантен, симпатичен, притягателен! Понимаете? У дам в зале любопытство к герою должно вступать в схватку с неприятностью и побеждать. В пьесе, в начале второго периода...

— Действия, — быстро поправляет режиссёр.

— ... у Герострата появляются сочувствующие и даже последователи — кто-то, вдохновлённый его примером, решил сжечь стадион...

— Театр, — метко замечает режиссёр.

— Так вот, не только на сцене, но и в зале у Герострата должны появиться болельщики ...

— Поклонники, — Бершадский неумоим.

— ... Зрительный зал должен разделиться на симпатизирующих Герострату и ненавидящих его.

— Молодой человек, — пугается режиссёр, — вы хотите сказать, что не только на сцене, но и на трибунах...

— В зале, — поправляю я Бершадского.

— Да-да... В зале должны вспыхнуть антагонизм и противоречия?

— Споры, потасовки, почему нет?! — Хлестаковский грим жжёт меня нестерпимо, — Вы хотите новых форм или вы хотите рутины?!

— Я полагаю, они у меня есть! — запальчиво восклицает режиссёр.

— Зачем себя ограничивать? — я немного охлаждаю пыл, — имейте их больше. Накачивайте спектакль новыми формами до состояния внутреннего взрыва, тогда это будет вам новое искусство.

— Вы меня пугаете, молодой человек... — Бершадский переводит дыхание и подымается, — Дмитрий Иоаннович, послезавтра генеральная репетиция. Приглашаются все желающие. Вы будете?

— Обязательно! Я буду. Буду аплодировать, бурно ликовать, свистеть, топтать ногами в соответствующих местах, чтоб вам стало понятнее моё мнение, которое я недостаточно выразил сегодня...

— Ну-ну, милости просим, — лишь замечает Бершадский и уходит.

Тишина. Смешки и бормотание из беседки под окном. Я изучаю октябрьскую афишу, жду Светку и скучаю по ней. Отыскиваю листочек бумаги, карандаш, начинаю рисовать свою скукограмму по Светлане: зубец, плато, провал, зубец, плато, зубец... в эту секунду раскрывается дверь и появляется Светка. По её глазам вижу, что она тоже соскучилась, у неё тоже зубец. Радостный, говорю ей на странном диалекте: «Я страшно измучен текучестью характеров в твоё отсутствие. Ни минуты покоя. Слава богам, что на этот раз передо мной явилась ты». Светкины глаза, как ни странно, выражают полное понимание.

Мы покидаем штукатулку, оживлённо беседуя и жестикуюлируя. Встречаем в коридоре Лену. Она озабочена, устала, обессточена, просит прощения: «оду-

хотворённый цинизм я ему построить не успела, и так сойдёт». Она напутствует нас словами, словно крестом осеняет: «держите себя в руках и ведите себя прилично». Мы обещаем Лене и держать, и вести себя согласно её установкам. Мой грим решаем не снимать. Пусть все любят.

— Завтра вы даёте «Ревизора», — говорю Светлане. — Прекрасно! Классика! Без меня теперь — никак, буду обязательно.

— А ты не ходи.

— Почему же не ходить? Тебя там нет?

— Как тебе сказать?.. Я там есть.

— Марья Антоновна что ли?!

— Нет.

— Жена городничего?

— Обижает.

— Неужели унтер-офицерша?

— Опять мимо. Не старайся, не догадаешься.

— И не буду догадываться, я просто приду и гляну. И билет возьму в первый ряд.

— Ни в коем случае!.. Так, значит, не идёшь, нет?

— Н-ну, как скажешь.

— Не идёшь?

— Не иду.

— Точно?!

— Тётей клянусь!

Вот и хорошо. Не ходи. Встретимся после спектакля... Я только что видела Бершадского. Ты у нас, оказывается, теперь Дмитрий Иванович? Прямо, Менделеев...

КАРТИНА ПЯТАЯ

«Я люблю из горничных делать королев».

А. Вертинский «Полукровка»

Я сижу в первом ряду партера. Очень удобно, никто не вертит лохматым затылком у самого носа, никто не протискивается в середину ряда, повернувшись задом, можно низко развалиться в кресле и вытянуть ноги. Бизнес-класс. Нужно только не забыть, когда начнётся спектакль, сесть попри-

личнее, выпрямиться, потому что сценическое действие, как бушующий, перекатывающийся через волнорез прибор, норовит выплёскиваться в зал, пенистыми потоками затоплять проходы. Пространство между сценой и первым рядом партера давно уже превратилось в лабораторию новых форм. Сцена покинута, забыта, растеряла свою магию, своё обаяние; она щербата, истоптана, излатана, измордована, она требует чистки, ухода, ремонта, покраски; в это же самое время, недостаточно ещё истоптанные, небрежно пока исследованные закоулки партера, эти «воловы лужки», соединяющие и разделяющие зрителя и действие, всё сильнее вскипают событиями и эмоциями. Там журавлиным шагом ходят секунданты, и ждут исхода залитые бледностью, оскорблённые поэты. Там гусары с нарисованными усами вручают зрительницам с нарисованными бровями букетики гиацинтов. Там маршируют гренадёры и потрясают мечами древнегреческие воины, там объясняются в любви и ссорятся, там происходят чудеса, там Леший бродит. Пьеро грустит и чахнет там, влюблённый в безответность, мучнистое лицо его торжественно и страстно. Там авангард публики легко превращается в массовку, и артист, представляющий самого Вертинского, глядя пристально в глаза избранной жертве из первого ряда, вещает: «Вы любите женщин, так не стесняйтесь этого, любите их всей душой». Затем «Вертинский» выделяет взглядом второго невольника, впивается в него, гипнотизирует: «А вы любите море, — утверждает и настаивает он, — шумное море, дальние странствия, солёные брызги...». Невольник не выдерживает пристальности маэстро и отчётливо произносит, заворожённо глядя ему в глаза: «Я, знаете, больше всё-таки по части женщин». Первого избранника тоже прорывает, он поворачивается к публике и с азартом сообщает: «А я предпочитаю брызги». Зал смеётся. «Вертинский» не теряет и импровизирует: «В следующий раз, молодые люди, поменяйтесь местами...»

Но я увлёкся. Сегодня должно быть скромнее, интимнее, академичнее. Дают «Ревизора». Мы, зрители — народ подлый; придирчивый, переменчивый, прилипчивый и влюбчивый. Нас сейчас больше всего волнует — как будет произнесена первая бессмертная фраза; ведь её музыке, настроению, темпоритму должно подчиниться всё остальное действие. Тщательно разминаем шеи, откашливаемся, выдуваем носы, заканчиваем шелестеть конфетными обёртками, кладём в рот карамельки, оправляем сзади пиджаки и кофты, выпрямляем спины, раскрываем пошире глаза, замираем. Тускнеет и гаснет свет, побежал, поехал занавес.

Приглашённые господа, — приглядываемся, пересчитываем: раз-два-три... — все на месте. Городничий что-то задерживается. Осторожно перево-рачиваем во рту карамельку, ждём Антона Антоновича. Он должен появиться с секунды на секунду... Вот, наконец, вздрагивает кулиса, глухо стучает каблук, раскрываются створки низенькой двери, с кувшином в руках является Светка ... странно. Высоко взбитый чубчик, жеманно брошенная на плечо коса с вплетённой в неё лентой и изящной заколкой у основания, декольти-рованная блузка, короткий передник поверх широкой плиссированной мини юбки, белоснежные, тонкие кружевные панталончики... впрочем, я здесь немного забежал вперёд — панталончики пока не видны. Однако предчув-ствие кружевного безумия уже витает над просторами партера, ибо глаза у Светки хитро-озорные, загадочные, словно говорят: «вот погодите-погодите, ужо сейчас я вам такое преподнесу!» Сверкнув глазами в зал ещё раз, она неторопливо и торжественно принимается двигаться по сцене изящными полукружностями. Вот, повернувшись к публике спиной, она с очень боль-шим усердием наклоняется к Артемию Филипповичу, дабы наполнить вином его бокал. Наклоняется, и, словно солнце выглядывает из-за туч, такое всюду разливается сияние, такой вспыхивает рассвет, что затмевает всё вокруг; по-среди этого сверкания уже трудно разглядеть что-либо ещё.

Светка продолжает обходить присутствующих господ. Наполняя каждый очередной бокал, она озорно взглядывает через плечо на зрителя и выделяет попой причудливый крендель; ненадолго выпрямляет стан, поворачивает-ся боком, чтобы пройти немного лёгким, танцующим шагом. Ещё один крен-дель, ещё один, ещё... Закончив прислуживать, она поворачивается лицом в зал, в изнеможении прикладывает прохладный бок опустевшего сосуда к пылающей щеке, поднимает вверх глаза и произносит певуче-протяжно и за-гадочно: «Хм-м!», и эта её фраза, её взгляд, гипнотизирующий верхние ряды балкона, приводят нас в замешательство: мы все осторожно краснеем, судорожно разгрызая, разжёвывая и проглатывая карамельки. Светка же, перед тем, как удалиться, проделывает попой ещё один прощальный вензель для господ актёров. Только затем на сцене наконец появляется позабытый всеми Городничий. Он неброско втискивается в сюжет, пытается сообщить какую-то новость, какое-то известие, но как-то несвоевременно, легкомысленно, вы-мучено, вяло.

Что же дальше? Никакого кривлянья и приступов ужаса, никакой фан-тасмагории и никакой мистики. Всё без ненужного гротеска и излишнего

лицедейства, — чинно, по-деловому собрались серьёзные, рассудительные люди с устойчивой психикой, хозяева района, то есть уезда, живущие по понятиям, понимающие, что жизнь есть базар, и за базар иногда необходимо ответить. При этом, если коллектив повязан, сплочён и здравомыслящ, а пахан интеллигентен и хладнокровен, то всё будет путём, ибо мафия — бессмертна. Трудно представляется тот Хлестаков, который будет способен ввести в заблуждение этого Антона Антоновича. Милейший человек! Иными словами, трудно вообразить, что этот Антон Антонович способен так пошло купиться на дешёвого фраера пусть бы даже из самого Питера!

Как метко Бершадский нашёл тот момент, когда хладнокровие и расчёт уступают место суете и панике. Ключевая фраза: «Так и ждёшь, что вот отворится дверь и — шашть...» Здесь открывается дверь, и с известием вваливается Бобчинский-Добчинский... Нет, это ещё не страшный суд, но только его предчувствие, прогон. Репетиция ответа на труднейший из вопросов: «Что же ты это, а?!» В этом вопросе невозможно что-либо уточнить, бесполезно тянуть время и юлить. Нужно чётко и точно ответить «что именно» и «почему». Отсюда — нарастающая паника, потеря самообладания, потливость, дрожание конечностей, состояние ужаса. Хлестаков ещё не появился, но теперь легче поверить, что всю эту свору можно разогнать по углам одним ударом хлыста.

Явление Хлестакова. У парня порывистый северо-западный ветер в голове, умеренный до сильного юношеский оптимизм, перемежающийся со слабыми, кратковременными осадками уныния и скуки. При таком нескрываемом, лезущем наружу обаянии становится ясно, что все эти па-де-катры, висты и художественные свисты — явно временное явление; и если б Старый Барин в молодые годы побольше занимался сыном, подняв ему рубашонку, почаще б засыпал куда следует чего следует, то из такого вполне выдающегося Хлестакова давно уже мог бы выйти довольно сносный Чацкий...

На сцене тем временем образуется совершенная куча мала, что-то среднее между игрой в догонялки и послеполуденным отдыхом фавна: будущий Чацкий сначала задирает подол Марье Антоновне, потом треплет причёску Анне Андреевне и, охваченный похотью, валит её на пол... Ну, всё ясно, Светкин темпоритм работает, как часы...

Окончена комедия, пустеет зал. Я не покидаю своего кресла. Слегка провалившись в сиденье, я растопырил руки и делаю движение губами, как будто

желаю присвистнуть. У меня немая сцена. В зале появляется сконфуженная артистка Серова, она мелкими шажками приближается к моему креслу и осторожно садится рядом.

— Отомри... Шокирован? Ошарашен?.. Ой, я ж тебе говорила! Русским языком! Не ходи!.. Насмотрелся?

— Насмотрелся. Я хотел закричать «браво», но неудобно было, спектакль только начался.

— У меня практически не осталось от тебя секретов.

— Творческих секретов почти не осталось. Это правда... Ой, а куда твоя коса подевалась?

— Коса была накладная. Шиньон.

— Жалко. Светик, когда ты с косой, Тоска роняет швабру!

— Роняет, потом игриво наклоняется в талии, чтобы её поднять, и становится ещё веселее.

— Вот именно.

— Разве не пошло было?

— Нормально. Светка, я заинтересованный зритель. Мне важнее ты в искусстве, чем наоборот...

— Ой, а у меня дилемма! И я уже теперь не пойму: нужно любить свою задницу в искусстве или искусство в своей заднице!

— Ты люби обе вещи. Выйдет проще.

— Действительно проще... Я так и знала, что ты явишься!

— Откуда?

— Ты поклялся тётей! И тётя была двоюродная!

— Боже, какая пронизательность!

— Никакой пронизательности. Я бы тоже так поступила. И поклялась бы двоюродной тётей, Марианной Фёдоровной. Терпеть её не могу!

— Мы с тобой одинаково тёмные личности. Наши внутренние темноты одинаково кромешны... Впрочем, нет, твоё поповерчение — это луч света в нашем общем тёмном царстве.

— Ах, всё оптический обман... Луч-то, хоть не широкий? Не инфракрасный?

— Что ты! Никакого обмана! Угол падения равен углу отражения. Луч изящный, пропорционально-правильных размеров — продольного и поперечного. Таких ярких лучей в наше время днём с огнём не сыщешь!

— Очень сладко ты поёшь... Ещё что-нибудь изобрази, чтобы я совсем успокоилась.

— Существует расхожее мнение, будто в комедии «Ревизор» нет положительных героев. Спасибо Бершадскому — он выдумал тебя, и ты для меня теперь первый и единственный положительный герой.

— Героиня.

— Точно!

— В этом месте Героиня обычно разрешает поклоннику себя поцеловать.

— Целую?

— Целуй!

— В губы?

— Ну конечно!

КАРТИНА ШЕСТАЯ (МАСЛОМ)

«Брось её. Всё кончено.

Дрожишь ты, Дон Гуан.»

А. Пушкин «Каменный гость»

Захватывающие дыхание просторы. Звонкая, медленно расширяющаяся вьсь. Тёплая ещё киноварь угасающего дня прямиком намазана на холодную смальту неба. Хрущёвские пятиэтажки расставлены стройными рядами среди буро-зелёного моря насаждений. Пятиэтажкам очень идут новенькие мансарды, нахлобученные на их плоские смолёные лысины, от такой косметической операции они неожиданно обрели стиль и изящность. Вдали, залитый рыжеющей глазурью лесопарка, возвышается холм. Он торжественно принимает закат, медленно впитывает его роскошные полутона и темнеет по мере насыщения ими. Из вершины холма, словно свеча из именинного торта, нелепо торчит телебашня, унылая от своей ветхости и ненужности... Однако, эта милая картинка — вся какая-то нечёткая, покрыта белёсыми неряшливыми ляпами и полосами...

— Слушай, Светка, почему у тебя окно в разводах?.. Ой, извини, я кажется начинаю вторгаться в твою частную жизнь, в твой процесс мытья окон.

— Вторгайся, не страшно... Кхм... Это муж их мыл, но не домыл... Нормальное явление.

— Муж?

— Вот, видишь, здесь стенка проломлена? Ход из кухни в лоджию. Задумывалось, как усовершенствование, перепланировка... Ломал, но не доломал.

— Муж?..

— А вот там в коридоре — дюбель в стене торчит недовставленный. Он замыслил установить крюк и повесить на него репродукцию картины Врубеля «Демон сидящий». Заходишь в квартиру, в прихожей сидит Демон... Репродукция сейчас в кладовке пылится...

— Муж?..

— Две недели назад он мыл окна и варил варенье... Из айвы...

— Не доварил?

— Доварил. Потом начал закручивать варенье в банки, но не докрутил... Я ждала, что докрутит. Напрасно... Выбросила это варево к чёртовой матери...

— ... Понятно. Придёт он скоро?

— Трудно сказать. Это стихийный процесс... Последний раз он являлся неделю назад.

— И что?

— Брюки переменял... Бачок в туалете начал чинить.

— Починил?

— Догадайся.

— Мне обо всём остальном тоже нужно догадываться, или ты сама расскажешь?

— Ох, всё тебе расскажи! Любопытный какой!.. Он от меня ушёл... к этой... к другой, одним словом. Давно уже. Но, как выяснилось, ушёл не скоропостижно, не безвременно, не безвозвратно, не с концами. Концы он здесь оставил... Сейчас кофе приготовлю.

— Эти просторы... Этот закат... Эти разводы на окнах... Тьфу, мысли путаются... Мы сидим в кухне за столиком, пьём кофе, обмениваемся проницательными, всё понимающими взглядами.

— Я так кумекаю: его грызёт чувство ответственности за меня...

— Зачем кумекать? Ты его спроси.

— Ха, тут он тебе и ответит!

— Вы что, не разговариваете?

— Почему же? Общаемся на бытовые темы: ломать стенку или не ломать, вешать репродукцию или не вешать, варить варенье или не варить, из айвы варить или из груш. Я говорю: ломай, вари, вешай, коли, руби, стреляй, только оставь меня в покое!

— Хм... Сколько уже длится этот цирк?

— Два года будет скоро. Бумажный юбилей. Все мои усилия что-то изменить, отвадить его как-нибудь, поговорить с ним начистоту ни к чему не приводят. Он просто замыкается в себе и не желает ничего обсуждать.

— Ты не пробовала врезать другой замок?

— Ну, что ты! Какие-то дразги. Это несерьёзно! Мы же взрослые люди.

— Прости. Я плохо пока разобрался в тонкостях вашей семейно-процессуальной жизни... А если бросить ему в голову чем-нибудь тяжёлым? Может быть, это поможет ему разговориться?

— Пробовала. Не помогает...

С мучительным гудением и шарахающим финалом на лестничную площадку прибывает лифт. Мы многозначительно переглядываемся и замираем. Гулко, размеренно, тяжело бухают шаги. Слышится кряхтение входной двери.

— Ну вот, явился на зов, — Светка поднимает плечи, беспомощно разводит руками и встаёт из-за стола, — Явление третье за этот месяц... Но как, подлец, подгадал!..

— Странно всё...

— Ничего странного. У тебя Рэчел. У меня вот... Дон Карлос. Таскается второй год. Хоть бы пил что ли, дрался, судился со мной — была бы классика. А этот из другой оперы — созидатель, футурист какой-то.

Светка слегка прикрывает дверь в прихожую и начинает беспокоило блуждать по кухне, временами удаляясь через пролом в стене в лоджию.

— Я бы сейчас закурила, — слышится из лоджии её дрожащий голос, — Но не могу... Бросила.

— Ты? Бросила? — удивляюсь я, — когда?

— Тогда, — говорит она, показываясь в проломе, — когда увидела тебя у проходной. Увидела и решила: бросаю!.. Бросила. Ты разве не заметил?

— Нет, не заметил, — мне становится стыдно за свою невнимательность, я быстро меняю тему, — а чего он не идёт сказать «здрасьте»?

— Он у меня замкнутый, невежливый. Домовой, а не муж.

— Тогда я сам пойду, поздороваюсь.

— Сиди. Появится, никуда не денется.

Мы ненадолго умолкаем и прислушиваемся.

— ...Раздражён, кажется, — сообщаю я полушёпотом, — шурудит там чем-то, шуршит... Сыплет, что ли, гвозди на паркет?

— Ага, сыплет, — Светка тоже переходит на полушёпот, — сеятель...

— Нет, — вздыхаю я, — не люблю томительных ожиданий. Схожу лучше сам. Познакомлюсь. Подойду к нему и скажу: «вот тебе моя рука».

— А он ответит...

— Стоп! Не предвосхищай! Для вдохновения мне нужна неожиданность, выстрел случая.

— Стрелять он не будет, не волнуйся...

— Я и не волнуюсь. Видишь — поднимаюсь, иду уже...

— Точно идёшь?

— Ага.

— Ну, хорошо, иди... Давай я тебя поцелую на дорожку... Вот так... Ещё разок... Сладкий какой, оторваться не могу...

— А крестить-то меня зачем?!

— Так. На всякий случай... Он — левша.

— Левша? К чему это мне?

— К чему? Заходи справа, если что...

— Ну-ну, опять предвосхищаешь! Я ж просил...

Мною овладевает растерянность, я начинаю суетиться — пытаюсь удалиться в пролом, чтобы проникнуть в коридор через спальню.

— Ты куда?! — смеясь, шепчет Светка, хватая меня за карман пиджака и тянет обратно, — иди, как все люди, через прихожую.

— Так же ближе, — шепчу ей.

— Не нужно выходить к нему из спальни! Это неэтично.

— Верно, — говорю, — Не сообразил.

Я приглаживаю волосы, откашливаюсь и размеренным шагом, как все люди, через прихожую, широко огибая углы, иду на шорох и глухие постукивания, доносящиеся из глубины квартиры. Довольно скоро я натываюсь на шершавый взгляд Светкиного супруга. Он стоит в ванной в выжидательно-вопросительной позе. В руке у него пластмассовое ведро, наполовину заполненное кровельными гвоздями, вперемешку с шурупами.

— Саша, — говорю ему, замерев на половине шага.

— Взаимно, — отвечает глухо.

— Что взаимно?.. И ты Саша? — удивляюсь.

— Бывает, — философски замечает он и ставит ведро с гвоздями на пол.

— Сплошь и рядом, — осторожно поддакиваю я и интересуюсь, — так-так.

А где тут у нас «Врубель сидящий»? В кладовке?

— Не Врубель, а Дюбель... — усмехается он, — то есть, тьфу! Демон... сидящий... да, в кладовке...

Разговор начинает клеиться. Клей хоть и жиденький, слабенький, канцелярский, но прогресс несомненный. Мы оба это чувствуем — у нас обоих нормализуются пульсы.

— Времени на всё не хватает, — жалуется Саша. — Замотался...

— Ничего-о, — успокаиваю я его, — со мной теперь быстрее дело пойдёт. Только, я предлагаю обозначить приоритеты. Бог с ним пока, с Дюбелем. Первым делом — сокровенное — бачок. Сколько воды утекло с тех пор, как он сломался?..

— И не говори, — подхватывает он.

— Это вопрос, — поясняю я.

— Вопрос?.. — скучнеет Светкин муж, — много воды.

— И сейчас течёт? — продолжаю допрос.

— Подтекает... — Сашино лицо светлеет, он оживляется. — Там интересная система. Не пойму, как подлезть к этой прокладке...

Мы чинно отправляемся в туалетную комнату, без накладок и суеты отключаем подачу воды, открываем крышку бачка, с сосредоточенными лицами принимаемся разглядывать содержимое.

— Действительно интересная конструкция, — сообщаю задумчиво, — я, конечно, не эксперт, но скажу почти с уверенностью: здесь всё построено по принципу безвинтового крепления, — прогрессивная технология, откручивать ничего не нужно, — отжимаешь здесь, отщёлкиваешь вот эти две хреновины, потом вот ту, и вон там другая торчит. Видишь?

— Так-так, — Саша, поглощённый разгадыванием головоломки, склоняется над бачком и пытливно шарит в его недрах.

— Вот, отщёлкиваешь, и вся эта фигня выпрыгивает тебе в руки — целиком или частями. Выпрыгивает, и прокладка — наша. Если она ещё не рассыпалась, смазываем её подсолнечным маслом, и будет держать. А завтра идём в магазин и покупаем запасную... Ты, в принципе, завтра свободен? Нужно же стенку доломать в конце концов.

— Завтра у меня... — Саша мнётся.

Ну, послезавтра, — настаиваю я, — дело же стоит... — моё лицо принимает мечтательное выражение, — я думаю ещё: обоим нужно в прихожей переклеить...

«Фигня» из бачка уже целиком в Сашиных руках. Я деликатно достаю раздавленную трудами и временем прокладку и скептически разглядываю то, что от неё осталось.

— Да, Саня, — говорю, — Так и наша жизнь. Она безжалостна к нам, она корёжит наше тело, она изнашивает нас. Её течение и бурление подтачивает наши силы, убивает наши желания.

— Точно, — вздыхает Саня.

— Диалектика, — объясняю, — ставим всё на место, пусть ещё денёк потечёт.

— Завтра я бегу за прокладкой... Идём, выпьем, — за течение жизни, и вообще.

— Я не пью, — Саша пожимает плечами.

— И я не пью, — говорю ему, — Практически. Тогда выпьем чаю с вареньем...

— Чёрт! — хлопаю себя по лбу, — Варенье ж нужно сварить! Забыл совсем...

— Шурики, как вы тут? — в коридоре появляется Светка.

В глазах её хороводят демоны, снуют бесенята, там же — Врубель сидящий, стоящий, тусующийся и ещё чёрт знает кто... Выпила что ли?

— Нормально, — почти в один голос отвечаем мы.

— Нормально? — картинно удивляется она, бросает взгляд на внутренности бачка в Сашиных руках и восклицает: Боже, вы раскурочили самое дорогое, что было в этом доме!

— Всё будет окей, — странно спокойно говорит ей Саша.

Он осторожно ставит «фигню» из бачка на опущенную крышку унитаза, снимает с моей раскрытой ладони прокладку, мельком взглядывает на неё, кладёт её обратно, и говорит:

— Ладно, пойду я, пора мне.

— Пора? А чаю? — приглашает Светка, сверкая глазами, — с вареньем.

— Варенья нет, — напоминает Саша и кивает на меня, — вот он сварит. А прокладку я завтра куплю... Брошу в почтовый ящик... — обойдя посторонившуюся Светку, добавляет: Ну всё, я ушёл. Вы не скучайте тут без меня.

— Не будем, — в один голос обещаем мы вслед и смущаемся от своего порыва...

Мы опять сидим за столом на кухне и делаем вид, что пьём кофе. Простор за окном молчит и совсем почти не виден. Из темнеющего Сашиного пролома веет зябкий ветерок. Светка держит мои руки в своих и пристально смотрит в мои немигающие глаза:

— Демон ты, — говорит она.

— Сидящий, — соглашаюсь я.

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

*Чудно! Чудно, мой друг, что я, не зная тебя,
могла жить спокойно и весело!
Теперь мне это непонятно, теперь думаю,
что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука.*

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза»

Редкие, тихие, трезвые пары, возникая ниоткуда, движутся размеренно и плавно, сосредоточенные на вымученных, импровизированных, едва различимых на слух диалогах. Стол с закусками стоит девственно нетронутый, слабо освещённый. Там и сям со стен свисают плотные, спелые, упругие гроздья белых вперемешку с красными воздушных шаров. Площадка для музыкантов безлюдна, инструменты в состоянии ленивой паузы дремлют в изношенных громоздких чехлах. Перекошенная стойка микрофона застыла в позе оступившейся балерины... Ага — у балерины плохо отрегулированы пуанты. Я, нарушая единство действия, лезу в кадр, хватаю балерину за ножку, поддерживая за талию, стараюсь вернуть ей вертикальность. Она упрямится, норовит выскользнуть из моих нервных объятий. Наше па-де-де вытанцовывается с трудом, его сопровождают гулкие, глухие постукивания, доносящиеся из раструбов динамиков, — микрофон вероятно включен...

Всё сегодня наперекосяк! Светка, главный винтик этой адской машины (по меткому выражению Панченко), куда-то бессовестно и беспросветно пропала. Я уже заметил, когда мы где-нибудь с ней гуляем или медитируем с видом на природу, она растеряна, суетится, жмётся ко мне, как цыплёнок к курице, будто боится, что я куда-нибудь исчезну. Когда мы являемся в театр, она совершенно преображается: успокаивается, размякает и немедленно исчезает по каким-то неясным своим делам...

Штатив микрофона теперь стоит строго вертикально. Я подступаю к его серебристой решётчатой фигуре, говорю в неё интимно и развязно: «Раз! раз! Светка! ау!». Электронная утварь немедленно повторяет и разносит по всем углам эту очевидную глупость. Не зная, что ещё добавить к сказанному, помыслив немного, я начинаю декламировать отрывок из поэмы Пушкина «Анджело». Читаю по школьной памяти с элементами отсебятины. В сводах начинает гулять пугливое, робкое эхо. Никому нет до меня дела, совершен-

но — все привыкли, прикипели и к риторике помещения, и к акустике сводов, специфика такая. Утомившись, я заканчиваю на фразе: «Устами праздными жевал он имя бога, а в сердце грех кипел» ... Никто не реагирует на мои усилия. Мерзлота чувств. «Кипел!» — повторяю, повышая голос... Иней презрения. Пустое занятие.

Пожав плечами, я оставляю в покое микрофон и удаляюсь из фойе в гардеробный зал — в пустынное, доброе, тихое место. Сажусь у запертого выхода в вестибюль в кресло билетёра. Кресло замечательное — удобное, мягкое, ласковое. Раскрываю публикацию Бердяева. Эту книгу я купил час назад в магазине у Алёны. Бог знает, что такое: как только завожу беседу с Алёной, сразу же, в каком-то олимпийском угаре вместо Набокова покупаю Макиавелли, вместо Бабея, не торгуясь, хватаю Карамзина. Сейчас вот искал Полякова, но выпал Бердяев. Какое постыдное пижонство! Неужели нет других способов произвести впечатление на Алёну? И зачем мне вообще сдалась эта Алёна? Ущербная мужская психология. Совершенно необоримый, безобразный и глупый инстинкт.

Читаю размышления классика о традициях отечественной религиозной мысли. Усваиваю материал, постепенно вращаясь в кресло. ... Хомяков и Достоевский — два выдающихся религиозных мыслителя XIX века... Так-так... Хомяков вот только ни одной дельной книжки не написал. Все свои гениальные интуиции (хорошее слово у Бердяева) он оставил в своих статьях... Статей не читал. Что там дальше?..

Достоевский же создал себе имя тем, что строчил романы как заводной, успевай только листы у него из-под пера выдёргивать... Вот-вот. Ему бы с Хомяковым подружиться...

Светки всё нет и нет. Да где ж она?.. Ох, тоска, сил нет...

Бердяев хмурится, строго поднимая указательный палец, и говорит, говорит. Что, мол, русская религиозная мысль отталкивалась от германского идеализма... Я, повторяя его мимику и жест, возражаю ему, что мысль русская от германской только чуток оттолкнулась, а созрела уже в Сибири, во глубине сибирских руд. Широкая мысль рождается на широких просторах...

Ох, муки вечные! Где ж Светка?..

За окном гудит, метёт, огонёк лампы на столе вздрагивает. Достоевский, ссутулившийся, сидит за столом и пишет ожесточённо и нервно. Хомяков стоит у него по левую руку и ловко выдёргивает из-под пера дописанные листы. И в стопочку их... Потом они выходят курить на крыльцо. Некуря-

щий Хомяков ёжится, дрожит, скачет вокруг Достоевского и заливает ему про свои интуиции. У крыльца бушует и воет Сибирь. Доигрались оба, вероятно. Тут же в избе, на лавке у печи, накрывшись тулупом, спит Гоголь ... Гоголя-то за что? Странно. Впрочем, в Сибири ой как хорошо интуиции думать, поэмы фантазировать и романы соображать, главное, чтоб в избе печка исправно топила, без угара, и молока свежего или шей можно было всегда попросить у хозяйки, или пельменей со сметаной... И пиши себе, размышляй, пиши да размышляй. А простор какой кругом! А воздух! А свежесть, а дичь, а свобода... И христианская свобода, и протестантская, и какая хошь...

— Спите!? — слышу гневный возглас из тумана.

— А! Что?! — катапультируюсь и внезапно оказываюсь нос к носу напротив Панченко.

Мы некоторое время напряжённо молчим и лишь обмениваемся настороженными взглядами ... В конце концов, сглотнув слюну, вступаю я и заявляю буквально следующее:

— Быть может, единственным большим русским писателем, у которого не было любви к человеку, у которого человечность была ослаблена сознанием зла и лжи, был Гоголь.

— Вы с ума сошли! — отвечает на это Панченко.

— Вовсе нет, — говорю я ему, окончательно проснувшись, — Гоголь — самый загадочный и жуткий из русских писателей. Вот — только что вычитал у Бердяева, — я поднимаю вверх томик и потрясаю им в воздухе, — впрочем, не обращайтесь внимания, — я совершенно не умею завязывать разговор с великими режиссёрами.

— Вы что, выпили?

— Не успел ещё.

— Тогда пойдёмте, спросим шампанского. Очень трудно с вами общаться в трезвом виде. Я, право, теряюсь.

— Взаимно, — говорю.

— Я заметил, что взаимно, — отвечает он с хитринкой. — Да! И оставьте вашего Бердяева в гардеробе. Во избежание новых философских озарений.

— Оставить?! Унесут.

— Не унесут. Мы ж не на премьерке. Банкет — закрытое мероприятие.

Панченко уходит за стойку гардеробной и оттуда принимает у меня томик Бердяева. Взамен выдаёт номерок. Возвращается и, осторожно хлопнув меня

по плечу, вытянув шею, поправляет галстук. Я повторяю его движения, делаю то же самое, хотя галстук сидит на мне, как вшитый. Мы трогаемся солидной парой, изредка соприкасаясь плечами, размеренным шагом пересекаем фойе и садимся за служебный столик аккуратно под двухаршинным портретом Чехова. Нам без вопросов и задержки подносят шампанского.

Что ж не заходите? — безразлично спрашивает меня Панченко, отхватив одним махом полбокала.

Я следую его порыву — делаю то же самое.

— Как-то случай не представился, — отвечаю ему, переводя дыхание.

— Я, впрочем, вечно занят, — сухо сообщает он, шаря глазами где-то далеко позади меня, — совершенно недоступен для душевной беседы ... Вот и сейчас...

Он делает знаки кому-то невидимому за моей спиной, пожимает плечами, с виноватым видом указывая на меня глазами...

— Невежливо с вашей стороны, — говорю ему, намекая на его красноречивую мимику.

— Знаю-знаю, — отвечает сокрушённо, — абсолютно нет времени для чуткости, такта, сострадания.

— Давайте тогда ближе к делу, раз уж вам некогда заниматься условностями.

— К делу? — он поднимает брови, — это интересно.

— Вот именно, — говорю, — интересно. Надеюсь услышать от вас то же определение, когда вы познакомитесь с духовным наполнением моего произведения... Вот, — я вынимаю из кармана флэшку и широким махом припечатываю её к поверхности стола, как костяшку домино.

— Что это? — удивляется он.

— П-пьеса... — здесь я неожиданно икаю и прикладываю к губам кончики пальцев, — пользуюсь случаем... Файл находится в основной папке — «Клара точка док-к» ... — я икаю ещё раз, — ознакомьтесь и, если можно, побыстрее, у меня тоже, знаете, нет времени, я улетаю завтра вечером.

— Вы деловой человек.

— Ваше влияние действует...

— Что вы говорите! — напряжённо заполняет пробел Панченко.

Он наблюдает лежащую на столе флэшку, подозрительно разглядывает её, словно прихлопнутого таракана, который вот-вот очухается и побежит.

— Представьте себе, — я тоже держу паузу, беззвучно при этом посвистывая.

Взгляните на портрет! — он неожиданно повышает голос, поднимает вверх указательный палец, устанавливая при этом со мной цепкий зрительный контакт, — взгляните и, не моргая, не вслух, про себя скажите Ему следующее: «согрешил, светлейший, отпусти и благослови» ... Нет-нет, не нужно вставать, — режиссёр останавливает мой выразительный порыв, — тем более становиться на колени... Ни к чему. Он вас выслушает в любой позиции.

Я подчиняюсь, откидываюсь на спинку стула, задираю голову, обращаю глаза к портрету. Меня немного смущает пенсне «светлейшего», а также ироническая усмешка, таящаяся в его глазах, ускользающая и неуловимая, как улыбка Моны Лизы; но я всё-таки привожу себя в душевный порядок, и исповедь моя проходит без эксцессов...

— Отпустил? — тихо спрашивает меня Панченко.

— Вроде, да, — тихо отвечаю я.

— Хорошо, — заключает он, берёт флэшку, зажимает её в кулаке, салютует мне этим кулаком в стиле «но пасаран» и обещает:

— Я постараюсь принять вас завтра утром. О времени и месте свидания вам сообщат дополнительно.

— Договорились, — твёрдым голосом резюмирую я.

Мы привычным залпом допиваем шампанское. Панченко солидно и колебимо поднимается, не утруждает себя рукопожатием и удаляется, направляясь к микрофону; я остаюсь под присмотром портрета, медленно сливаюсь с прибывающей толпой, накатывающей вокруг меня неторопливыми волнами....

От вида сутулых спин и вялых затылков меня опять клонит в сон. Пятачок у микрофона насыщается ярким светом, медленно раскаляется, там становится жарко, как в духовке. Директор театра Каретников пышно и горячо произносит официальную речь и одновременно выпекает питанную сдобой булку достижений коллектива, Панченко стоит у него по правую руку и время от времени искусно впечатывает, вклепывает в эту булку изюминки, вставляет реплики, довольно уместные и смешные. Далее они эту булку нащипывают аккуратными, но скудными ломтиками, — ломтики вручают по очереди лучшему постановщику, осветителю, актёру, билетёру, мастеру сцены. Вручение проходит под методическое гроханье оркестра в нужных местах. Ломтики, самые разные, расходятся в конвертиках, пакетиках, футлярчиках и как есть, в натуральном виде. Ломтик за

лучшую женскую роль, за мужскую... Кому ещё не отщипнули?.. Почётная грамота за лучшую роль заднего плана, за успешное раскрытие образа Спящей Принцессы в спектакле... Что?! С меня слетает весь сон. Грамоту?! Почему же нам грамоту?.. Всем часики, конвертики, букетики, а нам грамоту!.. Сверкающая фига микрофона кажется мне сейчас особенно наглой и противной... На пятачке появляется Светка... Светка! Нашлась! Она в немыслимом — белоснежном, пышном наряде, с высокой причёской, увенчана диадемой — в сценическом костюме той самой спящей (вернее, проснувшейся) принцессы...

Постановка называется «Сон в эпоху потрясений». За минувшие три недели я не пропустил ни одного спектакля со Светкиным участием или без неё. Может возникнуть вопрос: почему это образ Принцессы — роль заднего плана? Очень просто: героине пьесы в первой же картине всучивают отравленный абрикос; надкусив и пожевав его, она ахает, валится навзничь и впадает в кому. Далее по ходу действия Принцесса лежит спящей в хрустальном гробу за полупрозрачной ширмой (актриса Серова пошутила, что единственное место, где ей удаётся выспаться, — это в образе Спящей Красавицы). Красавица спит, а на сцене в это время происходят разгулы страстей, конфликты интересов, плетутся интриги, разворачиваются баталии. Принц, тот самый, единственный из сопредельного царства-государства, которому надлежит спящую поцеловать и разбудить, юридически оказывается пока ещё не принц. В связи с этим, коматозная Принцесса совершенно не реагирует на его поцелуи, ибо они ей, как мёртвому припарки. Лишь в самом конце первого действия, преодолев целую череду препятствий, разрушив дюжину интриг, завоевав доверие высшего совета, покорив два соседних королевства, соискатель любви Принцессы добывает себе титул принца.

И вот уже вроде бы дело на мази, он готов поцеловать её, он стремится к ней, он скачет к её ложу, чтобы осчастливить её, разбудить от долгого сна. Однако в самый неподходящий момент (как это всегда случается на сцене) в сказочном царстве-государстве вспыхивает революция. Народ страшно устал и оттого энергично бунтует, гвардия разбежалась, трон свергнут, устои разрушены — идут смутные времена, когда совсем нет ну никакого места для нежностей и поцелуев. В бывшем царстве-государстве зреет диктатура Пролетариата, ибо так зовут диктатора — Пролетариат. Наследный сын Пролетариата Первого, безвольный, самовлюблённый, истеричный юноша сгоряча лезет (и он туда же) целовать Принцессу, однако та лишь крутит во сне носом,

что-то бормочет, кого-то невнятно ругает, кроет, но принципиально не просыпается.

Так проходит ещё много лет — десятилетия хаоса, глупости и жестокости. У Народа иссякает второе дыхание. Народ сильно подустал от такого расклада и диктатуру поэтому тоже свергает — разбегается очередная гвардия, свергнут очередной трон, рушатся очередные устои. Принцессе что — она всё спит. Зарубежные туристы толпами приходят поглазеть на спящую, игнорируя экскурсии в мавзолей Пролетариата Первого, чудом избежавший гнева народной революции.

Годы идут, вот уже совсем фантастические наступают времена. В сказочное царство из дальних краёв по программе обмена прилетает бельгийская кронпринцесса нетрадиционной ориентации. Прилетает и среди всеобщей дискотечной суматохи, хлебосольного гостеприимства тайком пробирается к Спящей Красавице и украдкой целует её. «Бинго!» — восклицает кронпринцесса, увидев, что поцелуй сработал, и поцелованная, наконец-то, слава богу, ура — просыпается. Выспавшаяся Красавица немного сконфужена спросонья, несколько обескуражена, но всё же толерантно счастлива. В финале Принцесса заднего плана восклицает торжественно и радостно: «Ах, как долго же я спала!» Занавес...

Вручили актрисе Серовой её куцый ломтик. Вручили, но все как будто не забыли ещё о ней, о её глупой грамоте. Как будто ждут чего-то от неё. Непонятное напряжение висит в воздухе... Светлана, не снимая растерянной улыбки с лица, торопливо бродит глазами по головам присутствующих. Меня ищет, кого же ещё? Лена стоит рядом с ней и уже давно высветила меня взглядом. Она легонько толкает Светку, указывает ей в мою сторону, затем берёт её за руку и ведёт ко мне. Ведёт сквозь медленно расступающуюся толпу плавно и величаво, словно к венцу...

— Ах, как долго же я спала, — издали, одними губами выговаривает мне Светка.

Подбородок её приподнят, глаза блестят. У Лены на лице хмурая торжественность, её подбородок тоже приподнят. В это время барабанщик заводит дробь, её переливы заводят мою внутреннюю пружину лёгкого беспокойства. Потом неожиданно врывается оркестр и даёт пышный с раскатами аккорд. Все аплодируют, улыбочиво поглядывая в мою сторону. Мне становится не по себе.

— Испугался? — спрашивают в один голос девчонки, приблизившись.

— Ничуть, — говорю им, — ничуть. Совершенно... Только у меня костюмчик не по жанру.

— Отговорочки, — хихикают, — Испуга-ался, вон коленки дрожат. Мы же видим.

— Да я!.. Я! — хорохорюсь.

— Ладно-ладно, мы шутим, — вздохнув, говорит Лена и вручает мне Светкину руку. — Жених нашёлся. Прынц. Так мы тебе и отдали нашу красавицу... Вот, грамоту прими... — она удаляется.

Все о нас быстро забывают. Официальная часть окончена. Размякший оркестр рассеянно играет блюз.

— Светка... Я... — совершенно не представляю, что собираюсь сказать.

— Ш-ш-ш! — она зажимает мне губы ладонью. — Всё. Забыли. Шутка, глупый, — она подмигивает мне и улыбается, — у нас тут ещё и не такие номера заворачивают. Давай лучше танцевать.

Мы кое-как танцуем блюз. Светлана разнежилась в моих объятьях и еле волочит ноги. Устроила свою голову у меня на плече и тихо беседует со мной обо всём. Её дыхание щекочет мою шею...

— Напомни мне, — она в непонятном беспокойстве поднимает голову. — В четвёртом классе я любила тебя или Худякова?

— Хомякова, — отвечаю задумчиво.

— Какого Хомякова? Проснись.

— Ах да. Не то... Хомяков — это друг Достоевского... Худякова ты любила, Худякова. Его с боем, с милицией оторвали от твоего сердца, как скрипку у от Паганини... Отобрали скрипку, принесли контрабас.

— А мне уже кажется, что это я тебя любила. Тебя, хоть ты и был контрабас. В четвёртом классе, знаешь, какая бывает любовь?

— Представляю.

— О-о-о, не улыбайся, ещё какая бывает! У меня, по крайней мере. Мы сидели с тобой за партой, и ты был такой... такой...

— Светка, ты кажется фантазируешь... И плачешь... Зачем это? О прошлом плачешь?

— Я никогда не плачу о прошлом. О прошлом слезливо грустят. Плачут о настоящем... И вообще, это у меня аллергия от шампанского.

— Светка, я подумал... Не приходи завтра вечером в аэропорт.

— Я и не приду. Очень надо.

—Точно не придёшь?

- Точно! Тётей клянусь!
- Марианной Фёдоровной?
- Ею присягаю!
- Так не идёшь?
- Не иду... Ночь сегодня будет на час длиннее. Они время назад переведят... Это такая удача.
- Это просто счастье, — соглашаюсь я.

КАРТИНА ПОСЛЕДНЯЯ

Соната до минор, К 56. Allegro con spirito.

Д. Скарлатти

Режиссёрский склеп. Распечатка моей рукописи лежит на краешке режиссёрского стола, измятая, распотрошённая, словно небрежно и неудачно препарированная мумия. Скомканный листок заглавия прижат к столу режиссёрским локтем, режиссёрский кулак подпирает сидящий висок. Пальцы режиссёрской свободной руки нервно барабнят по футляру очков...

Нет, лучше так. Панченко сидит в актёрском закутке на продавленном диване из реквизита. Он в пиратском костюме, треуголка съехала на затылок, наглазник с черепом сдвинут на лоб, по правую руку у него лежит рукопись, придавленная клеткой с чучелом лысеющего от старости попугая. Впрочем, нет — попугай настоящий, живой, молодой, он непоседлив и суетлив, и в данный момент крючковатым своим клювом пытается утащить в клетку листок с заглавием моей пьесы. Мэтр не чурается участия в своих же постановках, предпочитая главные роли. В данном случае, он — в образе пирата Дырки из собственной постановки «Про Лену, Васю и злого предводителя Пиратов» ... Слишком экстравагантно... Ну, хорошо. Он у себя дома, в кабинете, в домашних сандалиях и утреннем халате, пьёт кофе. В складках губ, мочках ушей и на кончиках пальцев угадываются симптомы утренней досады. В глазах тлеет ненависть к театру, драматургии и искусству в целом... Скупо?.. Нормально... Однозначно то, что в логово Панченко по сухому и краткому телефонному звонку являюсь я. Очевидно также, что он встречает меня хорошо темперированным, густо увитым сарказмом возгласом:

— Автор! Явился!

— Преступника, — не сморгнув, отвечаю я ему, — тянет на место преступления.

— И это хорошо, что тянет, — вяло успокаивает меня Панченко. Он искусственно хмурится... — У вас в рукописи, я заметил, вместо эпиграфа написано: «В главной роли — артистка С. Серова». Это что — ультиматум?

— Вроде того.

— Ну-ну... Следующий вопрос. Я заинтригован. Вы что же, вот так запросто взяли и написали пьесу и полагаете, что так следует поступать всем, кому больше нечем заняться?

— Напротив, я считаю, что пьес не следует писать никогда и никому. Но, если это всё же произошло, и пьеса написалась, не следует рвать её на части, топтать, жечь и прочее. Проще принять свершившийся факт, как неизбежность.

— Вы писатель?

— Боже упаси! При этом, может же у человека быть хобби.

— Вы уже пробовали писать пьесы?

— Не пробовал. Опубликовал две повести и несколько рассказов. Пытался создать роман, но устал, бросил. Пьеса написалась случайно... Там что, совсем плохо?

— Я бы не сказал. Мне просто интересны мотивы вашего драматургического эксперимента.

— Мотивы ясны, взгляните на эпиграф.

— Продвинуть нужного человека?

— Точно. Крышевание и раскрутка... Так берёте или нет? — не выдерживаю я.

— Ну, вы наглец, молодой человек, — режиссёр беспомощно разводит руками, — пьеса, как вы сами догадываетесь, сыровата.

— Я спешил, у меня было мало времени.

— Я понимаю...

— Там ведь, кажется, есть пара жемчужин? — осторожно предполагаю я.

— Пара и не одна, — он собирает листки рукописи и пытается уложить их в аккуратную стопку, — я вам скажу, перламутра здесь гораздо больше, чем у Скороходова.

— Давайте не будем равняться на Скороходова.

— А на кого вы собираетесь равняться? На Антон Палыча?

— Какого Палыча?

— Уточнить?

— Не нужно... Берёте или нет?

— Я подумаю.

— Если Серова не подойдёт для главной роли — порвите, а лучше сожгите.

— Зачем топтать и жечь труд романтика? Проще, бережно положить на полку... Первое критическое замечание: меня пугает слишком активная жизненная позиция главной героини, её авантюризм.

— Вас пугает её позиция, а её пугает тоска действительности... Со шваброй... У неё нарушено восприятие мира...

— Восприятие мира, скажите пожалуйста! У неё есть любимое дело, профессия.

— Её любимое дело создавать иллюстрации к художественным произведениям, творить, а она вынуждена лепить макеты суперобложек! Её не ценят, не понимают, ей в жизни не хватает необыкновенных людей. Ей скучно. И вот вдруг является тот, который ей ужасно интересен...

— У неё, кажется, есть муж.

— Разве это муж? Типичный домовой, ведро с гвоздями, привидение в штанах...

— Ах, ей нужен материальный персонаж, герой. Так-так... Она влюбляется от скуки, вы хотите сказать?

— Какая разница от чего и в кого влюбляться? Важен результат — у неё восстанавливается интерес к жизни...

— Он разбивает её сердце и исчезает.

— Но в финале же чувствуется надежда!

— Какая там надежда?! Уезжая, он просит её не провожать его, не приходить к вечернему поезду...

— Ну и ...

— А сам укатывает дневным. Она естественно приходит к вечернему, а его там нет.

— Но он же просил её не приходить! Она поклялась двоюродной бабушкой, что не придёт!

— И это вы называете надеждой?!.. Уф-ф. В целом, хочу заметить, ваш сумеречный юмор сбивает меня с толку...

— Дело привычки. Знаете, у меня мало времени. Через четыре часа — самолёт.

— Хм... Вы говорили, что самолёт улетает вечером...

— Разве? Не помню.

— Вы нас ещё посетите?

— Если пригласите на премьеру — прилечу обязательно... Вот адрес моей электронной почты.

— Вы предлагаете мне с вами переписываться? И откуда в вас столько оптимизма?

— Я его черпаю из вашей ауры.

— Значит он у вас быстро иссякнет, когда мы расстанемся... Ну, хорошо, если мне понадобится что-нибудь уточнить по поводу вашего творения, я вам напишу.

— Да, чуть не забыл, верните флэшку с файлом.

— Вы, оказывается, ещё и скряга, стяжатель... Запомните правило: рукописи не рецензируются и не возвращаются...

Мы прощаемся кратко и сухо.

— Здесь, в самом конце чувствуется надежда...

— Чувствуется?..

— Нет? Ну, теперь уж всё равно.

Занавес.